

XVII

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кошунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни разу; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и Святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отраднее было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже, и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?» А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому

не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа бессознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность: ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности когда он хотел сделать для нее что-нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорят всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград — отсутствие которой она чувствовала с Курагиным, — ей никогда

в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.

В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, отраденнская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.

Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспять время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфены Ивановны, Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгий и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой

Божией Матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божией Матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться Богу, который в эти минуты — она чувствовала — управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила Бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастья.

В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщить, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.

Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих

месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей.

Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.

— Непременно продолжать — утром и вечером, — сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. — Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, — сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, — скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.

Графиня посмотрела на ногти и поплевала, с веселым лицом возвращаясь в гостиную.

XVIII

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11-го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11-го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.

В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях деревьев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающих по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услышала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней:

- Это Ростова, та самая...
- Как похудела, а все-таки хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, — тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, — и все

та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, — думала она, — а так даром, ни для кого, проходят лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue* и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услышав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.

Благообразный, тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью...» — думала она.

Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:

— «Миром Господу помолимся».

«Миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться», — думала Наташа.

* Манеру держаться.

— «О свышнем мире и о спасении душ наших!»

«О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», — молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и, хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее и об Анатоле как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий синод и молится за него.

Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:

— «Сами себя и живот наш Христу-Богу предадим».

«Сами себя Богу предадим, — повторила в своей душе Наташа. — Боже мой, предаю себя твоей воле, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне

делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!» — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.

Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась Богу о том, чтобы он помог ей.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

— «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, — начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. — Господи Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди Твоя, и человеколюбие услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущай землю Твою и хотяй положить вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззаконнии собращая, еже погубити достояние Твое, разорити честный Иерусалим Твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы Твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, Господи, доколе

грешницы восхвалятся? Доколе употреблять имать законопреступный власть?

Владыко Господи! Услыши нас, молящихся Тебе: укрепи силою Твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, Твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; утверди всемогущею твоею десницею царство его и подаждь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его: положи лук медян мышцам, во имя Твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, да будут пред лицом верного ти воинства, яко прах пред лицом ветра, и ангел Твой сильный да будет оскорбляй и погоняй их; да придет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут под ногами рабов Твоих и в поправление воем нашим да будут. Господи! Не изнеможет у Тебе спасти во многих и в малых; Ты еси Бог, да не превозможет противу Тебе человек.

Боже отец наших! Помяни щедроты Твоя и милости, яже от века суть: не отвержи нас от лица Твоего, ниже возгнушайся недостойнством нашим, но помилуй нас по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих презри беззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовью, вооружи единомыслием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем

нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.

Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же уповаем, не посрами нас от чаяния милости Твоя и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да увидят все страны, яко имя Тебе Господь, и мы людие Твои. Яви нам, Господи, ныне милость Твою и спасение Твое даждь нам; возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиам, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила Бога с той нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила Бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленапреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтобы он

простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни. И ей казалось, что Бог слышит ее молитву.

XIX

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, — вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? — который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением *ее*. Слышал ли он, и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он, или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался, как прежде; не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе:

«Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда не узнает этого», — думал он.

Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.

В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом, сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».

И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре — десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
140 150 160

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoléon*, выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux**, то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe? Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя — Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhof*** и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый

* Император Наполеон.

** Сорок два.

*** Русский Безухов.

ответ: l' Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, Антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l' Russe Besuhof — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя пленным, и привести его к великому подвигу и великому счастью.

Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Раstopчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Раstopчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.

Курьер был один из знакомых Пьеру московских балльных танцоров.

— Ради Бога, не можете ли вы меня облегчить? — сказал курьер, — у меня полна сумка писем к родителям.

В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Раstopчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4-й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым

о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем чтобы самому привезти их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым.

Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом на завтра приезде государя — все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны.

Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому мажоранскому обществу, с которым он был связан клятвой и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он l'russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти *зверю*, глаголящему велика и хульна, определено предвечно и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно совершиться.

XX

У Ростовых, как и всегда по воскресеньям, обедал кое-кто из близких знакомых.

Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.

Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину.

Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.

Первое лицо, которое он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услышал ее. Она пела солфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но, когда она круто повернулась и увидала его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.

— Я хочу попробовать опять петь, — сказала она. — Все-таки это занятие, — прибавила она, как будто извиняясь.

— И прекрасно.

— Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! — сказала она с тем прежним оживлением, которого

уже давно не видел в ней Пьер. — Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.

— Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, — прибавил он и хотел пройти в гостиную. Наташа остановила его.

— Граф, что это, дурно, что я пою? — сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.

— Нет... Отчего же? Напротив... Но отчего вы меня спрашиваете?

— Я сама не знаю, — быстро отвечала Наташа, — но я ничего бы не хотела сделать, что бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали!.. — Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. — Я видела в том же приказе, *он*, Болконский (быстро, шепотом проговорила она это слово), он в России и опять служит. Как вы думаете, — сказала она быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, — простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?

— Я думаю... — сказал Пьер. — Ему нечего прощать... Ежели бы я был на его месте... — По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.

— Да вы — вы, — сказала она, с восторгом произнося это слово *вы*, — другое дело. Добрее, великодушнее,

лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что... — Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.

В это же время из гостиной выбежал Петя.

Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.

Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.

Он просил его узнать, примут ли его в гусары. Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.

Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

— Ну что мое дело, Петр Кирилыч. Ради Бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

— Ах да, твое дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу все.

— Ну что, mon cher, ну что, достали манифест? — спросил старый граф. — А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.

— Достал, — отвечал Пьер. — Завтра государь будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.

— Да, да, слава Богу. Ну, а из армии что?

— Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, — отвечал Пьер.

— Боже мой, Боже мой! — сказал граф. — Где же манифест?

— Воззвание! Ах, да! — Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.

— Ей-богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он.

— Ну уж, вечно растеряет все, — сказала графиня.

Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.

— Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно...

— Ну, к обеду опоздаете.

— Ах, и кучер уехал.

Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.

— Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.

За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— А слышали? — сказал Шиншин. — Князь Голицын русского учителя взял, по-русски учится — *il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues**.

— Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополчение-то собирать будут, и вам придется на коня? — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.

Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.

— Да, да, на войну, — сказал он, — нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.

После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.

— «Первопрестольной столице нашей Москве.

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», — старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.

Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.

Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно, приготовился насмеяться над тем, что первое

* Становится опасным говорить по-французски на улицах.

представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.

Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня, с дрожанием голоса, происшедшим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местях для совещания и руководства всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оною, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

— Вот это так! — вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. — Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.

Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.

— Что за прелесть, этот папа! — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.

— Вот так патриотка! — сказал Шиншин.

— Совсем не патриотка, а просто... — обиженно отвечала Наташа. — Вам все смешно, а это совсем не шутка...

— Какие шутки! — повторил граф. — Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...

— А заметили вы, — сказал Пьер, — что сказано: «для совещания».

— Ну уж там для чего бы ни было...

В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите, — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и всё...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.

— Вот и договорился! — сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

— Ну, ну, — сказал он. — Вот воин еще! Глупости-то оставь, учиться надо.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя молодеж меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости...

— Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

— Петя, я тебе говорю, замолчи, — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела оставившимися глазами на меньшого сына.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет...

— Я тебе говорю — вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, — и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить...

Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно-блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.

— Нет, я, кажется, домой поеду...

— Как домой, да вы вечер у нас хотели... И то редко стали бывать. А эта моя... — сказал добродушно граф, указывая на Наташу, — только при вас и весела...

— Да, я забыл... Мне непременно надо домой... Дела... — поспешно сказал Пьер.

— Ну так до свидания, — сказал граф, совсем уходя из комнаты.

— Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. — спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.

«Оттого, что я тебя люблю!» — хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.

— Оттого, что мне лучше реже бывать у вас... Оттого... нет, просто у меня дела...

— Отчего? нет, скажите, — решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.

Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

XXI

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.

На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устраивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов... Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около

Петя стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь — все стоят. Что ж лезть-то!

— Так и все полезут, — сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.

Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.

Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услышал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.

Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!» Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.

На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.

— Отец, ангел, батюшка! — приговаривала она, отирая пальцем слезы.

— Ура! — кричали со всех сторон.

С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.

Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».

«Так вот что такое государь! — думал Петя. — Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!» Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из-за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с усталым красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось, и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое-то духовное лицо, с пучком седевших волос назад, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.

— Барчонка задавили! — говорил дьячок. — Что ж так!.. легче... задавили, задавили!

Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и недышащего, к Царь-пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг

вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстигивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого-то — тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, — говорили голоса.

Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидеть должествующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидеть его — и то он бы считал себя счастливым!

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками — толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и слышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и собщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово *соборне*, которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда

его сдавили, с чувством восторга еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.

Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной — смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! ура!» — опять закричала толпа.

— Который? Который? — плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему; все были слишком увлечены, и Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из-за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на него весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал «ура!» неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему ни стоило, он будет военным.

Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом; но он не уходил домой и вместе с уменьшившейся, но еще довольно большой толпой стоял перед дворцом во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах.

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидеть ваше величество.

Обед уже кончился, государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.

— Ангел, отец! Ура, батюшка!.. — кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура!», уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать — так и вышло, — с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он

решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.

XXII

15-го числа утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. По зале Дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола, под портретом государя, сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи; но большинство дворян ходило по зале.

Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском, и этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большей частью сидели на местах и молчали, и ежели ходили и говорили, то пристраивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности, общего ожидания чего-то торжественного и обыкновенного, вчерашнего — бостонной

партии, Петрушки-повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и т. п.

Пьер, с раннего утра стянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества — сословий, *états généraux* — вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о *Contrat social* и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для *совещания* с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям в то время, как войдет государь, когда дать бал государю, разделиться ли по уездам или всей губернией... и т. д.; но, как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.

Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском, воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между толпой, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своей доброй улыбкой, как он всегда слушал,

в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело; это видно было по выражению лиц, его слушавших, и по тому, что известные Пьеру за самых покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грассированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают: «Чеаек, трубку!» и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

— Что ж, что смоляне предложили ополченцев госуаю. Разве нам смоляне указ? Ежели буародное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность госудаю императору другими средствами. Разве мы забыли ополченье в седьмом году! Только что нажились кутейники да воры-грабители...

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой! Только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор... а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так выговаривал государь), мы все умрем за него, — прибавил оратор, одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить. Он

выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно:

— Я полагаю, милостивый государь, — шамкая беззубым ртом, сказал сенатор, — что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь император. А судить о том, что удобнее — набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...

Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня, ваше превосходительство, — начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), — хотя я не согласен с господином... (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать *mon très honorable préopinant*^{*}) — с господином... *que je n'ai pas l'honneur de connaître*;^{**} но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения

* Мой уважаемый оппонент. *Прим. ред.*

** Которого я не имею чести знать.

своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, — говорил он, воодушевляясь, — что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и... *chair à canon**, которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета.

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнею слышал.

— Я полагаю, что, прежде чем обсуждать эти вопросы, — продолжал Пьер, — мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммуницировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Адраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:

— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно

* Мясо для пушек.

с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают...

Другой голос человека, среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Адрасина.

— Да и не время рассуждать, — говорил голос этого дворянина, — а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтоб погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увезти жен, детей. — Дворянин ударил себя в грудь. — Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов слышалось из толпы. — Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, — кричал дворянин.

Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.

Илья Андреич одобрял сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем;

и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, — ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, — но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.

Издатель *Русского вестника* Глинка, которого узнали («писатель, писатель!» — послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах.

Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи-старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того,

то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выразившееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, — стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.

Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! — кричал один.

— Он враг человечества! — кричал другой. — Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

XXIII

В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Ростопчин.

— Государь император сейчас будет, — сказал Ростопчин, — я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, — сказал граф Ростопчин. — Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело — выставить ополчение и не щадить себя... Это меньшее, что мы можем сделать!

Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.

Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь! Государь! — вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.

По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.

— Господа! — сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услышал столь приятно-человеческий и тронутый голос государя, который говорил: — Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него, и со всех сторон слышались восторженные восклицания.

— Да, всего дороже... царское слово, — рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но все понимавшего по-своему.

Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидел государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидел государя, он выходил, сопровождаемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:

— И жизнь и имущество возьми, ваше величество!

Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает тысячу человек и их содержание.

Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам, и, побряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они наделали.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

